

Секретный ингредиент/ рассказ

Category: Hekaýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Секретный ингредиент/ рассказ СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ

I.

Стояло классическое русское время: девятнадцатый век, зима, метели.

Молодой помещик двадцати двух лет Григорий Великанов, гостя в Тульской губернии у своего сослуживца Семёнова, собирался к Озёровым, соседящих с ним. В большом, с колоннадкой и портиком доме палладианского стиля, вечером давали приём по случаю дня рождения одной из трёх дочерей и, по словам Семёнова, недавнего столичного повесы, средняя сестра была очень даже недурна и по чувствительному трогательному нраву близка стеснительному и пылкому Григорию. Последний же, после некоторых для приличия уговоров согласился ехать на вечер, по его словам, только чтобы доставить приятное другу, у которого остановился по пути из воинской части. Со службой Григорий решительно распрощался. В родном имении он имел обстоятельное намерение устроить хозяйство по английскому образцу, как это входило у прогрессивных помещиков в обиход. Два дня ещё он должен был провести под гостеприимной крышей поручика Семёнова, но и они казались Великанову нестерпимо долгими. Так его тянуло домой, проснуться в новой среде и начать строгую осмысленную жизнь.

Григорий имел лицо простое и короткий, спотыкливый взгляд, крупновато круглящуюся голову, в большой овал которой вписаны мелкие, почти случайные черты. Всё это сейчас он видел, стоя перед зеркалом и завязывая галстух. Свои лицо и руки, двигавшиеся скупно и даже с какой-то правдивостью, ему нравились. Он чуть пожалел, что не поехал сразу с Семёновым, а решил, по стеснительности, задержаться, отправиться погодя. Григорий сурово улыбнулся неведомой Марии Ивановне, средней дочери Озёровых, которая воображаемо стояла в глубине зеркала.

И эта суровость ему тоже нравилась.

День быстро померк, и пока барин оделся, спустился с крыльца, влез в сани и пока Петрушка нерасторопно топтался вокруг лошадей и повторно проверял оснастку, уже бесповоротно стемнело и начиналась унылая декабрьская ночь. Легко метелило, но разобрать, обычное ли это в настрое погоды или признак надвигавшейся бури, было невозможно. Но никакой тревоги у выехавших не встало: дорога хорошо укатана, путь лежит напрямиком, все спуски и повороты как на ладони, а в ясную погоду большак просматривается насквозь – с получас рысью.

Однако же, только сани за ворота, всю прежнюю видимость забелило начисто, ветер зашагал огромными сильными толчками, лошади несколько раз останавливались и подавали назад, словно их брали под уздцы и норовили сбить в сторону, а в грядущку саней не прекращая швыряло охапки снега. Через полчаса и еще через полчаса с четвертью сани ещё никуда не приехали. Григорию виднелись только исчерканные извёсткой пространства по сторонам, сутулая спина Петрушки и замётанные снегом гривы лошадей. Барин крикнул мужику в спину, что, они, верно, сбились с дороги, потому что ехать тут почти ничего, и не лучше ли встать и осмотреться, ведь и лошади совсем не идут. Но возница молчал, не меняя согнутого положения. Григорий привстал и тронул его за плечо. Тронул и ещё раз, с силой стал трясти: тот сжался и не поворачивался и никак не отвечал. Молодой барин с силой пихнул мужика, и только тогда тот зашевелился и показал лицо. Петрушка был мертвецки пьян.

– Ах ты, скотина! – закричал Григорий с досады. Теперь проще было выбираться пешком, чем с пьяным возницей вытягивать сани, искать дорогу. И лошади, пока Петрушка беспамятствовал, отпустив вожжи, верно, повернули назад и уже давно кружили без пути. От злости Григорий вспотел. Семёнов так заманчиво, аппетитно описывал предстоящий вечер, соблазнял плечами и ножками девиц Озёровых, обещался своим посредничеством и покровительством. Светлое, кроткое и умное лицо Марии Ивановны повиделось ему боковым зрением. Он повернулся и увидал, с какой насмешкой, укором и разочарованием смотрело в пробегах туч пятно луны.

– Не беспокойсь, барин, – подал голос мужик. Он был рыжий, крупноносый, с пожёванными губами; слезящиеся глаза, добрые и беспомощные, смотрели в пустоту. – Лошадки сами всё знают. Ещё, почитай, получас и приедем. Обождите... лошадки сами знают. – Получас? – сорвался на фальцет Григорий. – И сколько раз ты, скотина, так ездил?

– А, почитай, всё время, – оживился Петрушка. – Учёные лошадки. Чего с них возьмёшь? Никакой дороги и не надо. Сами захотят и привезут.

Григорий от злости подпрыгнул в санях, глубоко запахнулся в шубу. Не мог ни слова сказать, ни решить, что делать дальше. Пока он так сидел, «умные лошадки» побрели, а Петрушка, довольный этим, подначивал их:

– Идите, идите сами, лоша-а-адушки.

Снова сани двинулись, Григорий впал в оцепенение, вращаясь среди образов Семёнова, Озёровых и остальных гостей, которые уже пьют и танцуют и которых он на самом деле никогда не видел. Ну что же, думал он, значит, так было суждено: заблудиться и не попасть на маленький карнавал среди убогих полей и равнин. Я ведь и сам, как чувствовал, никуда ехать не хотел. И если бы не забияка Семёнов, так бы и остался и завтра уже был бы в своём имении. И снова стал перечислять в уме изменения и нововведения, которые давно готовил, и как его встретят родные, и он подхватит на руки своего старого дядьку воспитателя и скромно, по-юношески поцелует няню, и гувернёра-немца, такого же древнего и костистого, как книжный шкаф, набитый школьными грамматиками и математиками, огорошит тем, каким отличным и крепким молодым человеком он стал. От этих живых картин Григорий совсем успокоился и забылся на время. А когда пришёл в себя, то устыдился слов, сказанных Петрушке, хотя и тот был хорош!

Пока они ехали таким дуром, по пригоркам, поднимавшимся наравне с санями, заиграла змеистая энергичная заметь. Местность захохоталась, и сани сильно раскачивало. Григорий почти остыл от переживаний, и тут сани накренило, и они, убыстряясь, поехали, подпрыгнули правым боком и совсем перевернулись, накрыв Григория с головой.

– Ах ты, скотина! – закричал он снова, глухим голосом из-под саней. Петрушка успел соскочить и теперь то бросался переворачивать сани назад, то подкапывал снег. Барин, тяжело дыша, вылез с другой стороны и сидел, обессиленный и мокрый от снега, в сугробе. Лошади встали, и вокруг, не прекращаясь, носилась слепая и неистовая пурга.

Григорий лежал в санях, покачиваясь и дремля, ему казалось, это всё та же горячка, лихорадившая его, пока он возвращался из полка с Семёновым, и тот настоял переболеть у него дома. Но однажды Семёнов тоже заболел, после пунша и купания в полынье, и теперь Григорий должен привезти к нему врача, которого отыскал среди беспечного карнавала у Озёровых, схватил за рукав и потащил с собой, умоляя, чтобы тот немедленно спас его друга Семёнова, а доктор оказался бы без шубы и постоянно кутался в женскую шаль, а на одном из ухабов не удержался и выпал за борт, в пропащую снежную пучину, и теперь Григорий боится глянуть туда и даже приподнять глаз за край саней, чтобы не видеть, как доктора, обезумевшего, уносит в кипенный океан. А под утро, к тихому рассвету, к оббитой снегом избе, принесёт бедного безмянного доктора, словно всю ночь его било, било и наконец прибило к берегу волной. И как выскакивают люди, и кто-то кричит «Петрушка! скотина!», и седое, замороженное лицо Петрушки свешивается из саней и волочится по снегу его рука в большой отчуждённой рукавице. И тут лошади остановились.

«Приехали! приехали!» – радостно заповторял Петрушка, вылезши из саней и уже маленько протрезвев, пошёл до лошадей, а упёрся в стену, и, двигаясь на ощупь вдоль белой пустой границы, пропал за ней. Григорий начал вставать, охлопываясь от снега и ледяного холода, выморозившим шубу до невесомости, когда из белой пустоты вышел Петрушка с человеком, хозяином избы, в которую уткнулись лошади.

– Где живут помещики Озёровы? – спросил Григорий, скорее, чтобы что-нибудь сказать и куда-нибудь уже приехать, чем действительно хотел к Озёровым.

– Озёровы?.. Нет, не слышал... нет таких помещиков...

– Как нет! А ближайшая деревня какая?

– Жадино.

– Как Жадино? – вопросом на вопрос отвечал Григорий, припоминая, знал ли он название озёровского имения. И тут выходило, что не знал. – Куда ж нам ехать?

– Поезжай вон туды, барин, – крестьянин показывал в объезд хаты. – Там высокая... высокая... её пошти обмело, крепкой путь и до Жадино, почитай, с получас.

– С получас? – с подозрением спросил Григорий, присматриваясь, не пьян ли мужик, досада опять пронзила его, будто все мужики уговорились насмехаться над ним.

– Да вот и высокая и путь крепкой, – тяжело повторил мужик, обтирая шапкой от талого снега лицо, как бы видя высокую, проложенную над низкой местностью насыпь. Столбовая дорога действительно шла здесь неподалёку, надо было только объехать несколько дворов. Мужик попятился и Григорий, поторапливаясь, пошёл за ним. За домом метель неожиданно упала, чернело небо и искрили звёзды в нём, и чем дальше за край хутора, тем покойней становилось, леденей и страшнее. «Крепкой путь» поднимался насыпью и вёл дугообразно в поля. Григорий с облегчением выдохнул. Будет что Семёнову рассказать, да и Петрушка хорош, ох и хорош. Надо было с Семёновым сразу ехать. Прощай теперь Мария Ивановна, легенда и краса захудалых, завьюженных мест; ещё, почитай, с получас, как говорят мужички, и будет он спать в чужом тёплом доме, изредка вздыхая о невиданной деве, а завтра уж и не вспомнит ни об Озёровых, ни о метели, ни о пьянице-Петрушке, ни о чём.

Только поднялись на столбовую, метели как небывало, не успели скрыться хатки хутора, впереди засветился огонёк – их встречал человек с фонарём, одетый легко, свет выхватывал тревогу услужливой муки лица.

– Ждём, барин, как ждём! С получас, почитай.

Это казалось невероятным, чтоб запоздали они на такое малое время, прошло никак не меньше двух часов с их выезда. Но чинить расчёты Григорий не хотел, он рад был любому исходу и снова стал воображать встречу с молодой застенчивой девицей, перед которой он оказался бы героем, если б рассказал о своей авантуре. Из кривенького дома на постоялом дворе выбежал

рослый, с гренадера, лакей.

— Ах, как вы заставили волноваться. Скорее, скорее, уж всё готово! Почти закончили! Все уж прошли, остались вы одни.

— Куда прошли? — упал у Григория голос. Лакей ухватил его за руку и, как жертву, доволоч к крыльцу.

В комнатах обступили красные тени, вспыхивали золотые столпы с лицами, старческие шёпоты шли из них, свеча металась от сквозняка, продоходившего гостя сквозь коридоры.

— Молодой-молодой, — проухали в алькове. — Как цвяточек.

— Молодой-молодой, — отозвалось из угла. — Харм-харм, жар-жар.

— Молодой-молодой, — тяжелели огненные узоры на стене. — Чир-чир, ульм-ульм.

Бледный, как с полотна, криволицый с закатанным рукавом облапил Григория, вдавил в узкую чушку, чугуном загудело сердце — и стало жарко, полыхнуло у лица, словно жгли клеймо, и пальцы палача раздавили челюсть и держали, чтобы металлические звенья поступали, звякая о зубы, вглубь-вглубь. Харм-харм — треснуло в затылке, чир-чир — шли звенья, ульм-ульм — клокотало в утробе, принимавшей царские рубли, жар-жар — золотая смола потянулась внутрь. От боли и жара Григорий задохнулся, и метнулось из него мелкое и плотное в самое отдалённое от себя, от комнаты с палачом, от постоянного двора, от Тульской губернии, от русской зимы в снежную крупу звёзд, где пустая стена не пустила дальше, свет упал перед ней, и оттуда с ускорением потянуло обратно, быстрее-быстрее, обдирая о звёзды и обшкуривая небесным синим гранитом, швырнуло обратно, и, взломав череп, обрушило назад. И ожил.

С первыми петухами въезжал Григорий к Семёнову и, как был с дороги, переметнулся в повозку, переживавшую на подворье ночную метель, выплюнул вознице в ладонь червонец и бледным голосом велел немедля везти себя прочь.

Больше Семёнов и Великанов никогда не виделись.

II.

Поэт сказал: я жил, как пчелка без улья с пыльцой на лапках. С пыльцой без позолоты, с дустом безденежья, безнадежья, дающих

о себе знать дрожью, замызгавшей лапки неудачника. Приветствую тебя, о март! — время вскрывать вены и выходить на карниз. Ибо не самая безумная идея в апартаментах с карнизом шириной в прогулочную панель готовить последний выход в свет, которым станет окно сто первого этажа. Журналистом, составляющим некролог, ледяной, карнизный ветер будет назван «с мизерной долей вероятности ветром надежды, тщетным упованием на достижение, пусть сиюминутной и посмертной, — но славы». С поправкой на случайность гостя — тщеславием. А безумию и тщеславию начало отсчёта — трёхлетней давности партия джинсов, просунутых в прореху ржавеющего «железного занавеса», а теперь арт-хаусные плёнки. Кто этот Джармуш, чьи полуторачасовые полотна столь же бесцветны, как воспеваемые им чёрно-белые кофе и сигареты? Отдать долги он может прямо отсюда, в прямом эфире в вечность.

На жестяной дорожке ветер обглодал последнее тепло. Теперь никакой пыльцы, никакого дуста — только дрожь распятого между окон. Каменная горгулья на водостоке, запятнанная первыми каплями дождя, пришепётывает обломком языка: недолгий ты сосед.

Мог ли три года назад он, перспективный комсомолец Костя Семёнов, надежда парткома Красносельского района Москвы, дебютируя в интернациональном кооперативе по прокату зарубежных фильмов, предполагать свою будущую кривую дорожку? Что успешной джинсой высланы намерения послать его в составе делегации, чтобы договориться с молодыми независимыми кинорежиссёрами, в их числе и Джармуш. Что выпускника школы с углубленным изучением английского, язык доведёт до Нью-Йорка и катастрофы. Потому что в каждом кафе, в сквере, в каждом бездомном чернокожем с узловатыми пальцами, в каждом коридоре отеля навязчиво и словно оборванный на полуслове поджидал его Соблазн. То и дело подкатывали странные типы. И наконец сутки в подпольном казино — и вот он проигрался подчистую. Партийные товарищи обвинят его в растрате кооперативных средств, в моральной деградации, в предательстве партии. Разве такое он видел будущее, в котором последнее в его жизни объятие будет с каменной империалистической горгульей?

Прощай, весна! Прощай, жизнь! Прощай, комсомол!

От молнии из низкой тучи горгулина пустила огромную тень, – та отшатнулась на полнебоскрёба, а, угасая, поднырнула под шею скульптуры, и по сю сторону вышел молодой человек с великолепно выбритыми и умащенными висками и подбородком.

– Добрый вечер! – сказал он, держа в руке жестянку с «Кока-Колой». Гранитным ногтём скovyрнул плоское кольцо и, салютовав движением «ваше здоровье», сделал глоток.

– А в...вы... кто? – Костя дрожал на пронизывающему ветру.

– Меня называют Гуляющий-по-карнизам, иногда – Человек-с-гранитными-ногтями.

И тут Костя увидел, что человек этот – старый, как мировая ночь, по сравнению с которой соседняя горгулья, будь она живой, показалась бы новорождённой. Целая вечность в момент проскочила перед Костиными глазами. Русская зима, молодой помещик, заплутавший в метель и по ошибке прошедший жестокое посвящение в тайное общество глотателей золотых монет.

Тысячелетний орден начинался от вавилонских толстосумов. В день зимнего солнцестояния поставь золотых идолов на скамеечку, свари золотикипящий напиток и влей в утробу вслед вавилонской дюжине монет. И тогда будут благоволить боги тысячу и двести лет, а после, повторно причащаясь каждый век, и сам станешь золотым тельцом. Нечеловеческую страсть к стяжательству давало посвящение, а ещё хрустальные глаза, мраморные ногти и чугунное кровообращение, – чтобы наживаться и копить, и богатеть, и тянуть-тянуть прелесть – ибо орден пришёл, чтобы прибрать себе всё золото мира. Крёз и Красс, Цезарь и малийский царь Манса Муса, Соломон и Чингисхан, Вандербильдт и Ротшильд – все они прошли посвящение. А Мидас, первосортный золотой телец, пресыщенный золотым раствором, сушил любую вещь в обратное злато.

Вавилонские знания прошли через древний мир и тёмные века, оставляя за собой галерею золотых статуэток высотой с голень взрослого мужчины и весом в двадцать пять тысяч карат. Все посвящённые вырождались в карликов. Один только Чингисхан, говорят, весил больше пятидесяти тысяч карат. Его статуэтку разбили и перемололи в заветную пыльцу. Первый «Оскар» был

цельно-золотой, а не сусальный, как последующие. Кем была при жизни эта статуэтка, неизвестно. Золотые божки, апостолы, идолы и тельцы, которых расставляли во время ритуала, хранили в ковчеге, изнутри обитом густым бархатом, перевоза на процедуру посвящения.

Молодой барчук Григорий Великанов, которого приняли за отпрыска немецкого барона, бесследно пропавшего в ту метельную ночь, после посвящения дурнел и кривел, отравленный прелестью. Вскоре известная всей России мамона, жестокая, безудержная к деньгам, он в начале двадцатого века сменяет фамилию на Карликанов и переводит все накопления в Сан-Франциско. Уже низкий был, как гном, и широкий, с загустевшей от золотца синильной кровью. Ибо золотые лихорадки трясли его сильнее, чем остальных, а страстью, работавшей на стяжание и добычу нового и нового золота из самых укромных тайников, превзошёл он любого в истории, за что было ему позволение проходить обряд каждое полстолетие.

Карликанов держал крупнейший пакет акций компании «Кока-Кола», именно он добавил в газировку тот самый «секретный ингредиент» – золото, смолотое из перерождённой чингисхановой плоти.

– Золото отравляющее. Золото респектабельное. Золото аддиктивное, – полз в Костином затылке лукавый шёпот. – Мы уже давно не торгуем сладкой водичкой, а скрытно правим миром, ибо в нашей коле – эссенция потребления, очаровательное довольство, убаюкивающее обаяние, полнокровный, властный уют – сказочная, чёрная дыра соблазна капиталистического Зверя. Работай, вкалывай, гнобись – по пояс, втридорога, чтобы преуспеть, запродай жизнь, получи в задаток «американскую мечту», посмотри на меня – теперь у тебя есть смысл, у тебя есть греза, у тебя есть свидетельство присутствия райского филиала непререкаемая текучая жадность нам нужна твоя алчность твои жилы твоя душа твои сиреневые глаза твои мускулы руки твоё служение слепая воля долгий прыжок вниз вниз внизвнизвниззззвини в золотую лаву в наши лапы наша прелесть. Прах – к праху, золото – к золоту, мы причащаем мир колой.

– Всё поняли? – наяву спросил Гуляющий-по-карнизам. И были они уже не во тьме внешней, а сидели в мягких креслах внутри

номера. На Косте бархатная пижама, а его собеседник, качая ножкой, всё попивает газировку. — Нам как раз нужны такие пропащие и отчаянные. Мы погасим ваш долг и сделаем одним из руководителей поставок нашей колы в вашу страну. У нас на это большие планы*.

— А пепси? «Как же пепси?» — спросил Костя с надрывом, вспоминая, что с детства пил её.

— О нет, — с омерзением глянул Гуляющий-по-карнизам, бросив качать ногой, и в левой брючине мелькнуло копыто. — Это не наш продукт. Его пьют младенцы и безгрешники. Пейте нашу колу. — Сковырнув замок с новой баночки, предложил её Косте.

— Я подумаю, — сказал Костя, протягивая руку.

— Конечно, подумаете. Но ваш выбор уже, чем этот карниз. — Они снова стояли на леденящем ветру, сквозь горло горгульи шипел ливень, и нога комсомольца предательски скользнула вниз.

Гуляя по Нижнему Манхеттэну, Костя забрёл в позднюю весну: колдованье киногруппы в одетом сакурой парке. В центре сквера камера и режиссёр наезжает на скамейку с актёрами — он и она, а на периферии массовка изображает прохожих. Кинопространство развернулось в прозрачной теплице, за которым бежит городская жизнь, а здесь она приостанавливается, совершенствуется в виде искусственно направленного течения. Следы на дорожке и порядок проклюнувшейся листвы — и те не случайны. Через секунду чары распались, статическое поле упало, и всё, что держалось в воздухе магическим замыслом режиссёра, посыпалось обычной городской суетой. Звуки улицы рассекли мнимое совершенство. Актёров отпустили на перерыв.

Заметив наивную веру Кости в происходящее, к нему из массовки подошёл примечательный дедушка: в мягких чертах лица, обрамлённых пушистым нимбом волос и бороды, в просторном балахоне твидового пиджака скрывалось ироничное изображение ветхозаветного Яхве. По-английски он спросил сигареты. Костя развёл руками: нема.

— Русский, что ль? — смеясь в бороду, сказал дедушка. Пухлые пальцы собирали по карманам чайники табака в сигаретную гильзу.

— У вас комсомольский румянец.

– Я здесь недалеко живу. Меня зовут Костя. Я здесь недавно, – ответил Костя приветливо.

Старичок поглядел знакомым лицом.

– Повезло вам. А я живу в Бронксе, и уже давно.

Потом они сидели в уличном кафе напротив парка, ели кремовые капкейки и угощались чаем из дедушкиного термоса.

Американский гражданин, «выходец из Советов», с еврейским акцентом и лицом клоуна Полунина травил печальные анекдоты, а на самом деле избранные места из своей биографии.

– Я уехал в семидесятых, перед самым Бродским. Такое соседство, знаете ли, затмило мою оригинальную выходку. Понимаете, откуда выходку?

– Сейчас страна меняется. Перестройка. Не хотите вернуться?

– Я, конечно, могу соорудить попытку вернуться на родину, но, поверьте, процент новых гангстеров в Советах на душу одного честного авантюриста скоро будет превышать все разумные доводы. Всё лучше быть цветочником в Бронксе, чем свидетелем на суде.

– Вы хорошо говорите по-русски, – заметил Костя. Массовка в парке разбивалась на группки.

– Вы ещё не слышали мой английский. По сравнению с ним мой русский просто шикарен.

В таком духе они дошли до его детства, когда обнаружилось, что у Костиного собеседника в жизни было предназначение. В пятилетнем возрасте он якобы сидел на коленях самого Станиславского и проникся интонацией его «Не верю!» Старик повторил фразу несколько раз, чтобы закрепить представление о еврейском выговоре знаменитого режиссёра. Потом он был героем-моряхом и полярником, сослуживцем Гагарина. И лишь затем слушателем режиссёрских курсов. Стремление в киноискусство и несоответствие идеологическим стандартам вынудило его искать своё призвание на западе. Но, как это часто бывает, в двух шагах от успеха он потерял веру в себя, женился и занялся выращиванием фиалок.

Тем временем в парке снова заработала камера и «хлопушка» продолжила отсчёт всемирной кинохронологии.

– Вам пора идти, – сказал Костя. – Съёмка началась.

Псевдо-Полунин засмеялся и, приглаживая ус, сказал, что когда-нибудь самый наблюдательный кинорежиссёр, покопавшись в архивах, отследит все его появления в массовках за сорок лет и смонтирует из них фильм.

– Поверьте, это будет самая разнообразная и длинная жизнь в кино, – сказал он. – А теперь мне пора на другую массовку. В Бруклин. В очередной поворот в моём вероятностном фильме.

– Вы никогда не хотели стать настоящим актёром? – спросил Костя на прощание.

– А я и есть актёр, – с нежной горечью ответил седой божок в твидовом пиджаке. – Только неявный. Вероятностный. Когда вас снимает скрытая камера: вы актёр или нет?

Весь день Костя думал о возвращении на родину, о подступающих девяностых и своей новой работе. За его душу, этот главный ингредиент любой истории, боролись слова Гуляющего-по-карнизам и человека из массовки, сплетённые в одно большое поле битвы. Неявное. Вероятностное.

** В действительности компания «Coca-Cola», также как и «Pepsi» в СССР имеют более раннюю и продолжительную историю.*

Об авторе: СЕРГЕЙ КАТУКОВ

Родился в городе Борисоглебск Воронежской области. Окончил историко-филологический факультет. Публиковался в журналах «Новая Юность», «Урал», «Сибирские огни», «Зеркало», «Крещатик», «Иностранная литература» и др. Neкаýalar